

ные, сводясь к вопросу о том, как человеку устроить свою жизнь—личную жизнь—к наибольшему счастью. В этих последних чертах отражался и грубый индивидуализм господствующих классов, и смутное сознание неотразимо развивающегося упадка жизни.

Интерес к техническим и естественным наукам слабел; временно только наблюдалось его оживление в позднейшую александрийскую эпоху, под влиянием непродолжительного экономического подъема провинций, тяготевших к новому центру—Александрии. Вообще же наука падала, переставая служить выражением технического прогресса,—потому что самого этого прогресса не было. Не пошло дальше первых шагов, а затем сменилось упадком также развитие наук социально-исторических: пренебрежение к трудовой жизни исключало развитие экономической науки, и в истории ослабляло элементы описания культурного процесса, выдвигая на первый план войны и деяния героев; с течением же времени, при общем упадке образования, она свелась к типу летописи, который и остался в средневековом феодальном мире, как вполне подходящий к его более низкой культуре.

Так своеобразно извратились в вырождающейся среде тенденции научно-философского познания, что, в свою очередь, могло только ускорить технический, а за ним и общий социальный упадок античного мира.

Всего позже замерло идеологическое творчество классического мира в области нормативной, именно—в сфере права. Рим, организатор всего этого мира, разработал и довел до высшего совершенства систему юридических норм, основанных на частной собственности, и соответствующих потребностям организации менового общества, каковым и являлось в своих верхах античное общество; это была та самая система «римского права», которая впоследствии послужила готовой организующей формой для вновь нарождавшегося на исходе средних веков товарного производства. Но и в сфере права роль позднейших времен Римской Империи сводилась, главным образом, к подведению итогов, к формальной обработке и кодификации того, что было выработано предыдущими эпохами. Такого рода идеологическая работа продолжалась еще некоторое время после падения Римской Империи в уцелевшей восточной ее части—империи Византийской; а затем здесь также заглохла среди продолжавшегося социального разложения.

В общем и целом, старая идеология не только не могла задержать деградации рабовладельческого общества, но, ставши в значительной своей части реакционной, ускоряла еще более и более. Не изменила в этом положении ничто существенного и та новая идеология, которую античный мир создал в своей последней, предсмертной борьбе,—христианско-религиозная, о которой нам придется еще говорить в дальнейшей связи изложения.

5. Ход экономической деградации античного общества.

а) Гибель мелких производителей.

Мы уже видели, что собственно рабовладельческое хозяйство носит в себе достаточные зародыши своего грядущего упадка: тенденцию к превращению рабовладельцев в паразитов и к истощению жизненной энергии рабов до полной невозможности какого-либо прогресса. Таким образом, вопрос о судьбе античного общества объективно сводился к вопросу о судьбе его «средних классов», — прежде всего, свободных мелких производителей, огромное большинство которых составляли крестьяне, гораздо менее значительную часть — ремесленники. Крушение этих классов означало падение главных опор общества, полный простор для действия разрушительных и разлагающих его сил. Такое крушение и наступило благодаря экономической связи и взаимодействию мелких производителей с рабовладельческой организацией, которая подорвала их экономическую жизнеспособность и как-бы увлекла их в своем вырождении.

Рабовладельческое хозяйство губило крестьян, а затем и свободных ремесленников, прежде всего, своей *конкуренцией*.

Крестьянство того времени уже в значительной мере было вовлечено в сферу обмена. В городе покупало оно значительную часть необходимых ремесленных продуктов, орудий и т. п.; а для того, чтобы покупать, продавало там произведения своего сельского хозяйства. Насколько значительно было меновое обращение этих продуктов, о том позволяет судить огромное развитие городов в древнем мире. — И на городском рынке крестьянское хозяйство вовлекалось в конкуренцию с рабовладельческим.

Технически это последнее, как мы видели, не стояло выше самостоятельного мелкого производства или даже ему уступало в этом отношении. Но благодаря крайнему выжиманию рабской рабочей силы, благодаря дешевизне приобретения рабов для крупного хозяйства и неполному удовлетворению их потребностей, оно получало возможность продавать те же самые продукты дешевле, чем мелкое самостоятельное хозяйство. Особенно сильно это чувствовалось в земледелии. Крестьяне не могли соперничать с латифундиями, потреблявшими, в самом грубом и буквальном значении этого слова, сотни и тысячи рабских рабочих сил. А по мере того, как разорялись в непосильной конкуренции крестьянские хозяйства, за их счет еще более выростали, дешево скупая их земли, рабовладельческие латифундии: этот процесс, таким образом, сам себя поддерживал и усиливал.

Еще более он обострился со времени завоевания Римом плодороднейших провинций, таких, как Сицилия, Малая Азия, Египет. С этих провинций римское государство брало

сначала контрибуции, а затем подати, между прочим, в виде огромного количества хлеба, который доставлялся в столицу и частью раздавался даром голодным массам «римских граждан» — пролетариев, частью продавался по самой дешевой цене. Таким образом, рабовладельческое государство одновременно разоряло крестьян в провинциях — чрезмерными поборами и в самой Италии — подрывом для них главного рынка. Процесс этот, как увидим дальше, стал роковым и для самих латифундий; но в первую голову он губил, разумеется, именно крестьянство.

Что касается ремесленников — класса гораздо менее многочисленного и исторически менее важного, чем крестьянство, — то для них сама по себе конкуренция рабовладельческих предприятий не была бы еще так губительна: в ремесле технические преимущества свободного труда были значительнее, потому что там большую, чем в земледелии, роль играет личное искусство и внимание работника; а крупное рабовладельческое производство в этой области даже не развилось, за исключением Греции времен ее процветания. Но рабовладельческое хозяйство, расширяясь, подкапывало силу ремесла еще иным путем — суживая для него рынок. И не только тем, что оно разоряло крестьянство, составлявшее некоторую часть этого рынка, но особенно тем, что само стремилось освободиться от необходимости покупать продукты ремесла.

Тут мы встречаемся с одним из «диалектических» явлений: экономически-меновая жажда наживы и накопления усиливалась внутри рабовладельческой группы натурально-хозяйственную тенденцию. Желая получить как можно больше денег от своего хозяйства, и для этого как можно меньше тратить их на его потребности, рабовладелец стремился достигнуть того, чтобы все необходимые ремесленные продукты, особенно орудия труда, одежда для рабов и т. п., производились в его собственном хозяйстве. И чем крупнее вырастали рабовладельческие хозяйства, чем большие массы рабов они применяли, тем в большей мере этот идеал становился для них осуществимым, тем больше разнообразных ремесленных профессий концентрировалось в каждом из них посредством систематической покупки обученных рабов и обучения других рабов внутри самого хозяйства¹⁾. Так, натурально-хозяйственное ремесло рабов жестоко конкурировало со сво-

¹⁾ По этой, в значительной степени, причине и в общественном мнении развитого уже рабовладельческого общества и в отражающей его литературе, поскольку она касается экономических вопросов, наблюдается такое преобладание натурально-хозяйственной точки зрения, которое не соответствует действительному значению обмена в социально-производительной жизни; это можно видеть даже у писателей афиня (как напр., Ксенофонт), нации, вообще, сравнительно торговой. Задача получать все необходимое из труда *своих* рабов, без помощи обмена, выдвигается постоянно. Это содействовало недоразумениям некоторых новейших экономистов, преуменьшавших роль обмена в древнем мире.

бодным ремеслом, производящим почти исключительно на рынок, и вело к экономическому обесилению этого класса.

Другим могущественным деятелем разорения самостоятельных мелких производителей выступают те самые *войны*, которые служили главным источником и опорой рабовладения. Их жертвой по преимуществу оказывается крестьянская масса.

Крестьянство, как мы знаем, было основной боевой силой римского государства в эпоху великих завоеваний и потому во всех отношениях должно было расплачиваться за победы. Его необходимые рабочие силы отвлекались от хозяйства и безвозвратно растрачивались в бесчисленных походах. На него ложилась наибольшая тяжесть порождаемых войнами налогов, но не ему доставалась наибольшая часть добычи от военного грабежа и доходов от управления провинциями. Правда, римское государство временами давало своим легионерам земли в завоеванных провинциях, чтобы иметь там надежную опору; но чем дальше от Италии переносился район новых походов и завоеваний, тем труднее для римского крестьянина становилось это дело колонизации, тем меньше оно могло его привлекать, особенно, если принять в расчет систему податного и вымогательского ограбления провинций Римом и его чиновниками, под действие которой с течением времени попадали неизбежно и новые колонисты.

Вообще же, стоило тому или иному крестьянскому хозяйству раз пошатнуться, хотя бы вследствие долгого отсутствия, благодаря войне, его главного работника и организатора, — дальше спасения уже не было, потому что на сцену выступал немедленно еще новый, самый страшный фактор крестьянского разорения — *ростовщичество*.

Одним из интересных парадоксов идеологии классического мира было очень тогда распространенное презрительно-отрицательное отношение к торговле и торговцам, рядом с чрезвычайно терпимым и снисходительным отношением к ростовщичеству. Дело объясняется очень просто, если посмотреть на классовое положение, с одной стороны, торговцев, с другой — ростовщиков. Торговля была специализированным занятием, и торговцы составляли особую социальную группу, тогда как ростовщичество было в значительной мере занятием господствующего класса — рабовладельцев. И характерная черта, свойственная всем рабовладельческим обществам, склоняющимся к упадку, — ростовщический капитал по своей социальной силе значительно превосходил капитал торговый.

Интересы торговцев стояли в явном и ощутительном противоречии с интересами других классов общества, и в том числе — рабовладельцев. Тогда торговый процент прибыли был несравненно выше, чем в наше время: торговля была делом очень трудным, требовавшим большой предприимчивости и энергии. Профессиональный риск был огромный, опасности и

потери подстерегали на каждом шагу, и купец, конечно, не мог довольствоваться таким малым процентом, как сейчас, особенно если принять во внимание, как невелика была, по сравнению с теперешней, та сумма товаров, которая проходила через его руки. Таким образом, даже когда исчезло воспоминание о прежней неразрывной связи торговли с сухопутным и морским разбоем, все-таки враждебность общественного мнения к торговцам имела серьезные экономические основания.

Для такого дела, как торговля, у избалованных праздностью рабовладельцев необходимой энергии не было, и они могли только ненавидеть торговца, как неизбежного во многих случаях посредника, отнимавшего у них значительную долю прибавочной стоимости, извлеченной ими из «собственных» рабов. Наоборот, ростовщичество было делом для них вполне подходящим, и они занимались им чрезвычайно охотно.

Ростовщичество в древнем мире начало развиваться, можно предполагать, еще раньше, чем успели получить сколько-нибудь широкое распространение обмен и денежное хозяйство. Ростовщический кредит возможен, как мы уже знаем, и в натурально-хозяйственной форме: заем, в случае неурожая, семян для посева, с отдачей в значительно большем количестве зерна, заем скота, орудий и т. под. На всей истории древнего мира, экономической и политической, лежит печать тесной связи между крупным землевладением, (а стало-быть, также рабовладением) и ростовщичеством. Везде, когда побеждала аристократия, создавались самые строгие порою жестокие законы против неспособных должников; победа демократии сопровождалась облегчением долговых тягостей. Уже в Греции ростовщичество развилось до огромных размеров; Рим расширил его до размеров мировых. Италия и провинции были им одинаково разорены.

Мелкое крестьянское хозяйство, вследствие своей зависимости от стихийных сил мертвой и живой природы, не может не подвергаться время от времени таким потрясениям, которые вызывают потребность в помощи извне: засуха, неурожай, саранча, эпизоотии, поражающие скот, и т. под. Социальные условия, в виде конкуренции, войн, налогов, прибавляют еще целый ряд источников подобных потрясений. А когда помощь является в виде ростовщического капитала, то прибавляется еще один, уже хронический источник. Благодаря всегда большой остроте той нужды, которая заставляет крестьянина обратиться к ростовщику (ибо крестьянин делает это только в крайности), процент назначается огромный, в виде ли продуктов, или в виде денег, или — отработков, подрывающих собственное трудовое хозяйство должника. Долг не уплачивается в срок или уплачивается с большим ущербом для хозяйства, и «помощь» ростовщика нужна вновь еще в увеличенных размерах, и т. д., — задолженность начинает расти лавинообразно, вплоть до разорения.

Не так быстро, но попадал в сферу действия ростовщического капитала рано или поздно также и городской ремесленник, причем, разумеется, конечные результаты были такие же.

Война повсюду превосходно подготовляла почву ростовщичеству. Мы уже видели, как она подкапывала хозяйство крестьянина-легионера, уменьшая силу его сопротивления богатому хищнику-соседу. В только-что завоеванных провинциях ростовщическая эксплуатация находила для себя наилучшее поле. Потрясенная неудачной войной, полуразграбленная уже страна облагалась еще высокой контрибуцией или, по крайней мере, значительными налогами, которых она в первое время не в состоянии была выплачивать, и которые должны были выколачиваться, по большей части, с ее крестьянства. Тут не только открывался простор для местного мелкого ростовщика, но немедленно выступал на сцену крупный ростовщический капитал римских патрициев и «всадников», который, можно сказать, шел следом за победоносными легионами¹⁾. Этот капитал, во-первых, брал на откуп налоги, во-вторых, охотно ссужал подвластные Риму правительства деньгами как для уплаты дани, так и для других надобностей. В первом случае ростовщик сам получал возможность экономически опустошать провинцию; внесши за нее сумму налога римскому казначейству, он уже ничем не был стеснен в деле выжимания местного населения под предлогом возмещения выплаченной суммы налога. Во втором случае это брало на себя местное правительство, но населению от того не было, разумеется, легче: и самый долг, и громадные проценты, и издержки взимания—все обрушивалось на него.

Обычный размер ссудного процента измерялся десятками на сто в год. Не только такие люди, как Сулла, Красс, Антоний не стеснялись в этом отношении, но и такие идеалисты политики и морали, как Брут, Кассий, философ Сенека, брали 50—70—100 % в год. В ростовщичестве были заняты и им, в свою очередь, создавались колоссальные состояния: тысячи талантов в руках отдельных лиц, десятки тысяч—в руках акционерных обществ²⁾ (талант серебра—около 2¹/₂ тысяч рублей, при чем, надо принять еще в расчет, что тогда покупательная сила денег была в несколько раз выше, чем в наши времена).

¹⁾ „Всадники“ представляли из себя первоначально ту часть первого „класса“ (по законам, приписываемым Сервию Туллию), которая давала государству конницу. Впоследствии им даны были специальные привилегии по откупу налогов в некоторых провинциях, так что они образовали своего рода сословную организацию ростовщиков по преимуществу.

²⁾ Ростовщический капитал древнего Рима (а ранее—Карфагена) группировался не только в товарищества крупных капиталов, но и в акционерные предприятия, подобные нынешним кредитным, где привлекались и мелкие сбережения широкой публики.

Таковы были финансовые силы, направленные к экспроприации мелких производителей. Понятно, что всякое сопротивление этих последних должно было с течением времени истощиться. Процесс еще ускорился непомерным *ро-
стом государственных налогов*, характеризующим эпоху империи вообще, и особенно ее позднейшие периоды.

Целый ряд причин вел к непрерывному возрастанию финансовых потребностей империи. Основная из них заключалась в условиях жизни военного и бюрократического механизма. Первый, с одной стороны, должен был, неизбежно увеличиваться благодаря усиливавшимся нападениям на империю извне, с другой стороны—должен был все более опираться на систему найма солдат.

Протяжение границ империи, раскинутой вокруг Средиземного моря, было громадно. Для поддержания их безопасности, также для сохранения мира в самих покоренных провинциях, для прекращения то здесь, то там возникавших восстаний, требовалось постоянное войско в несколько сот тысяч человек. Между тем Восток и Север высылали новые и новые полчища воинственных племен германского, кельтического, а впоследствии славянского, монгольского происхождения. Они охватывали империю железным кольцом, которое все суживалось, и нападения их, под давлением земельной тесноты, которая быстро усиливалась при их варварской технике, становились все решительнее и настойчивее. Во II—III веке после Р. Х., уже глубоко экономически подорванная, империя должна была содержать армию в 600,000 человек. И в то же время каждый солдат обходился ей все дороже, потому что все меньшая их доля рекрутировалась из собственных граждан империи, все большая—из наемников.

Упадок крестьянства подрывал источники боевой силы империи, вызывая необходимость в замене граждан—варварами, которые шли на службу империи за жалованье; сумма же этого жалованья возрастала, вследствие увеличения спроса на наемных солдат, и уже во II веке по Р. Х. превосходила 300 динариев на простого легионера—сумма по тому времени очень большая. А бремя налогов, которым подало это жалованье в большей части на остатки крестьянства, в свою очередь ускоряло их гибель.

Что касается бюрократии, то она по другим причинам все дороже обходилась обществу. По самой своей сущности, она была аппаратом для эксплуатации больше всего, именно—для эксплуатации Римом всей империи. Власть бюрократии была огромна, между тем как положение каждого из ее представителей, при продолжавшемся переходе императорской власти в деспотическую и при постоянных дворцовых революциях, было далеко непрочным. Естественно, что бюрократия стремилась использовать свою власть, чтобы эксплуатировать в свою пользу,—явление, неизменно повторяв-

шееся, до последнего даже времени, на памяти историй. Произвол, вымогательство и хищения властей, особенно провинциальных, увеличивались безгранично. Большинство императоров подавали в этом отношении самый живой пример. Их роскошь и расточение ими государственных средств, особенно с целью покупки симпатий солдат и римской черни, принимали порою восточно-сказочные размеры.

Так, переплетаясь и поддерживая друг друга, различные экономические и возникавшие из них политические условия неуклонно вели к гибели классов, составлявших жизненную опору античного мира—самостоятельных мелких производителей вообще и специально крестьянства.

б) Упадок крупного рабовладельческого хозяйства.

Губя различными экономическими и политическими путями крестьянство, рабовладельческий класс разрушал основы своего собственного существования. Рабовладельческое хозяйство, основанное на крайнем истощении и быстром изнашивании живых орудий—рабов, не могло держаться прочно без постоянной доставки этих орудий извне. Средством их получения являлась война,—только, очевидно, победоносная война. Но условием победоносных войн были сильные, крестьянские легионы, такие, как те, которые завоевали для Рима его империю. И это условие исчезло, когда крестьянство было экономически уничтожено конкуренцией крупных рабовладельцев, их ростовщичеством, их способом вести войны, их государственным податным хозяйством.

Войны из наступательных перешли в оборонительные, и становились все менее успешными. Откуда было взять необходимый человеческий материал для легионов? Прежние крестьяне, после своего разорения бежавшие в города и жившие там в виде «пролетариев», переставали быть тем, чем они были раньше: закаленными в суровом труде, воспитанными в его строгой дисциплине, во всех отношениях подготовленными к роли солдата, к лишениям в походах, к стойкой борьбе, неуклонному повиновению. Пролетарий античного мира был праздным поневоле, добывал средства к жизни либо в качестве паразита и прислужника богачей, либо в качестве паразита государства, продавая свои политические услуги, свой голос при выборах тому, кто больше давал; в военную службу, с ее опасностями и трудами, он идти не хотел, да и не годился для нее ни физически, ни морально.

О пополнении войска рабами, конечно, не могло быть и речи. Какие результаты получались, когда их обучали боевому делу, как гладиаторов, для забавы, о том ясно свидетельствует страшное восстание Спартака. Правительство и рабовладельцы должны были бояться даже всякого длитель-

ного их объединения большими массами на работе, как это показало, напр., восстание земледельческих рабов в латифундиях Сицилии.

Оставался только один возможный массовый источник военной рабочей силы: сами варвары. Материал для армии это был превосходный: крестьяне или пастухи, физически сильные и храбрые, привыкшие действовать дружно и сплоченно,—у них еще крепко держались старые родовые связи, с их патриархальной дисциплиной. Чем дальше, тем в большей мере заполнялись ими кадры легионов империи, которые постепенно становились «римскими» только по имени. Варвары шли против варваров, наемные против свободных.

Но—опять-таки: при этом была уже немыслима победоносная наступательная тактика, которая раньше давала рабовладельческому обществу массы рабов. Еще борьба Рима с Карфагеном показала, какая разница между войском из свободных граждан, какое было у Рима, и войском из наемников, хотя бы превосходно обученных, какое было у Карфагена. Наиболее тесную сплоченность и единство действия дает армии органическая связь с тем обществом, которое она защищает. У римской армии позднейших времен этого условия не было налицо, а у ее противников—свободных германцев—оно было. Перевес неминуемо должен был перейти, и мало-по-малу действительно перешел на другую сторону. Этим был подрезан жизненный нерв рабовладельческой системы.

Естественно было бы прибегнуть к разведению рабов. Но оно совсем не представляло тех выгод, как добывание их готовыми, причем главные издержки их вскармливания ложились на те свободные семьи и общины, из которых они были вырваны. В достаточной мере окупалось только разведение специально-обученных, «квалифицированных» рабов; а нуждались в рабах главным образом латифундии, для земледельческих работ весьма несложных. Там, где все хозяйство держалось на дешевом приобретении и быстром изнашивании живых орудий, процессы их приготовления внутри хозяйства не могли дать для него экономической опоры, как слишком длительные и слишком дорогие.

Таким образом, крупное земледельческое производство при помощи рабов должно было прекратиться¹⁾. Подорвано было также горное дело, которое в крупных размерах велось рабским трудом, и дело строительное, особенно государственные постройки и инженерные сооружения, проведение дорог и т. под., которые требовали огромной массы подневольных рабочих рук.

¹⁾ В Италии этот процесс был еще ускорен конкуренцией дешевого хлеба из плодородных провинций, который к тому же, как мы упоминали, нередко привозился в огромных количествах в виде дани и раздавался сотням тысяч римских граждан за бесценок или даром, что сильнее всего образом сбивало его цену.

Владельцы латифундий, пытались приспособиться к изменяющемуся положению, превращая поля в пастбища, заменяя земледелие скотоводством, для которого требовалось меньше рабов. Но и это понижение интенсивности сельскохозяйственной культуры не спасло дела. Общий упадок продолжался, пастбища сменялись пустошами. И в связи с упадком главных отраслей производства, приходили в расстройство также все остальные, даже и помимо недостатка свежей рабочей силы, просто в силу своей связи с главными; так, для ремесла сельское хозяйство являлось с одной стороны, источником сырых материалов и жизненных припасов, с другой стороны, в значительной мере и рынком. Болезнь шла дальше и глубже по социальному организму.

с. Пролетариат.

К возрождению старого крестьянства упадок латифундий и всего рабовладения повести уже не мог по двум главным причинам: будучи частною собственностью, земля была недоступна разорившимся прежним крестьянам, которым купить ее, разумеется, было не на что; а само это бывшее крестьянство, оторванное от земли, быстро подвергалось социальному вырождению, как главная составная часть «пролетариата» городов.

В самом деле, куда было деваться обезземеленному крестьянину, как не бежать в город: только там он мог надеяться на заработок или на помощь. Но заработок находился только в редких случаях: спрос на наемный труд при рабовладении, а затем при экономическом упадке, был ничтожный; а между тем уже раньше там успевала скопиться масса такого же безхозяйственного люда, из тех же разоренных крестьян и ремесленников, обанкротившихся торговцев, освобожденных рабов и т. под. Это было совершенно непроеизводительное население — люмпен-пролетариат; его источники жизни, по необходимости, сводились к паразитизму, частному или государственному.

Частный паразитизм, опиравшийся на роскошь и расточительность богачей, при которых кормились порою сотни «клиентов»¹⁾, имел, несомненно, очень широкие размеры, но он не был достаточен, чтобы поддерживать целые миллионы пролетариев, порождаемые экономическим разложением античного мира. Притом же с течением времени даже общая сумма расточаемого богатства общественных верхов должна была сокращаться, а пролетариат все увеличивался.

¹⁾ Институт клиентелы, о феодальном происхождении которого говорилось выше, среди рабовладельческой системы постепенно выродился в простое прислужничество и приспешничество, соединенное часто с грубым паразитизмом.

На государственную благотворительность падало таким образом все возрастающее бремя, и она в Римской империи развивалась до размеров, каких не достигала никогда и нигде больше в истории человечества. Большинство пролетариев были свободные граждане и, опираясь на свои гражданские права, *требовали* поддержки от государства. И требование это государству приходилось так или иначе удовлетворять, хотя бы потому, что собравшаяся в городах масса пролетариев представляла во всяком случае большую политическую силу, а доведенная голодом до отчаяния была бы грозной опасностью для всех имущих элементов общества.

Политические партии и отдельные политические деятели покупали у пролетариев их голоса; государство покупало у них общественное спокойствие: такой смысл имели постоянные даровые раздачи хлеба, нередкие раздачи денег и одежды, даровые увеселительные зрелища в роде гладиаторских боев, и т. под. Особенно большую роль в этом смысле играли пролетарии Рима, где их было несколько сот тысяч, и где они в эпоху упадка составляли огромное большинство населения.

Однако в дальнейшем положение пролетариев неизбежно становилось все более отчаянным, так как и государственные ресурсы постепенно истощались, а пролетариат по-прежнему численно возрастал. Между тем никакого производительного применения его рабочим силам разрушающаяся культура дать не могла.

Накопление капиталов или, точнее богатств, имелось налицо, и накопление огромное. На почве рабовладельческой эксплуатации, военного захвата и чиновничьего вымогательства создались даже такие состояния, которые измерялись сотнями миллионов сестерциев, т. е. десятками миллионов рублей на наши деньги, причем, как мы знаем, покупательная сила денег была еще в несколько раз выше, чем теперь. Но *капиталистическое производство*, несмотря на многочисленный «свободный пролетариат», возникнуть не могло. Производительные силы не росли, а разрушались; при этих условиях немислимо развитие новых и высших экономических форм. Не было организаторов для новой системы производства: господствующие классы, владельцы капиталов, успели вырождаться в чистейших паразитов. Торговец же не успел стать *торговым капиталистом*, т. е. объединить под своею властью мелкое производство: это последнее уже успело погубить рабовладельческая система. Рабы, доведенные до крайней деградации, не могли из орудий труда стать свободными наемными рабочими; да и «пролетарии» глубоко выродились в своем нищенском паразитизме, утратили всякую способность и всякую склонность к производительной работе. Путь к капитализму был закрыт повсюду.

д) Колонат.

Землевладельцы, вынужденные отказаться от ведения крупного сельского хозяйства рабским трудом, естественным образом стали искать новых способов организации земледелия. В результате возникли различные формы колоната.

Первоначально слово «колон» означало просто свободного земледельца. Но крушение свободного крестьянства привело к тому, что это название перешло к занявшим впоследствии его место несвободным и полу-свободным земледельцам.

Когда рабов стало недостаточно для того, чтобы с выгодой вести сельскохозяйственные работы их насильственно-объединенным трудом, тогда стал неизбежным переход к *индивидуальной* обработке земли; а она могла быть успешной только в том случае, если сам производитель был заинтересован в возможно большей производительности труда. Землевладельцы начинают сдавать участки своим рабам, давая им орудия и предоставляя заводить собственное хозяйство, и требуя с них за это оброков, в виде определенной части продукта, иногда—определенной суммы денег, а также, нередко, отбывания некоторых трудовых повинностей (*барщина*) в собственном хозяйстве господина. Впервые начало практиковать такую систему, повидимому, само государство в своих обширных доменах, разбросанных на всем пространстве империи,—уже в начале II века по Р. Х. Там же, можно думать, первоначально складывались те обычные, а затем и правовые нормы, которыми регулировалось впоследствии положение колонатов и на землях частных владельцев.

Государство стремилось привлечь на свои земли вольных арендаторов, особенно из числа прежних легионеров, а также разорившихся крестьян. Им предоставлялись участки земли на льготных условиях, но с тем, чтобы они их не покидали больше. Вначале, вероятно, и это последнее условие не было обязательным юридически; но потом, когда возделывание земли становилось все менее выгодным, и ее все чаще бросали, государство, терпевшее от этого убытки, начало ограничивать свободу арендаторов в этом отношении. Понятно, что из числа свободных, хотя бы разорившихся, граждан оказывалось мало желающих садиться на землю навсегда, и государство засеяло свои домены больше военно-пленными варварами, т.-е. людьми, формально стоявшими на положении государственных рабов. Позднее к ним стали присоединяться варвары-поселенцы, которые, будучи воспитаны в феодальном быте, ничего не имели против постоянной связи с землею. Так создавался колонат несвободный (*servi terrae*—рабы земли) и полу-свободный—зависимость крепостная и зависимость более мягкая, близкая к феодальной.

На частновладельческих землях те же отношения развивались затем, начиная с третьего века, тем легче, что для них имелись готовые образцы в государственном колонате.

Рабы, получая надел и переходя в крепостное состояние, сменяли прежнюю форму зависимости на более мягкую, и впоследствии закон упрочил это фактически создавшееся положение, оградив колонов от изгнания с их участков, от чрезмерного повышения их повинностей (они могли в этом случае обращаться к суду с жалобой на хозяина), от передачи их участков по их смерти кому-либо иному, кроме их наследников... Но в то же время бегство с их наделов строго каралось законом, а равным образом карались и землевладельцы, которые принимали чужих колонов в свои поместья. Таков был несвободный колонат.

Что касается колонов из свободного сословия, то первоначально их права не были, конечно, так ограничены, и они были просто арендаторами; но впоследствии государство, прикрепившее к земле своих вольных колонов, оказало ту же услугу и частным землевладельцам, и юридически колонат свободный все более смешивался с несвободным. Но уже самый факт юридического стеснения свободных колонов ясно говорит о том, что положение колонов было крайне тяжелым, и среди них наблюдалась в значительных размерах тенденция к бегству от земли; а следовательно, настоящего возрождения сельского хозяйства колонат античному миру не принес. О том же самом говорят и происходившие временами в провинциях восстания колонов, которые правительству приходилось подавлять.

Падавшая доходность земледелия вынуждала владельцев увеличивать повинности колонов, а правовая защита колонов государством, которое само разлагалось и становилось великим бременем для населения, — эта защита на деле в большинстве случаев оказывалась фиктивной; продажный чиновник, равнодушный к закону, всегда мог легче столковаться с помещиком, чем с его крепостным или полу-крепостным крестьянином.

Таким образом, разрушение римского государства с его бюрократией было необходимо для того, чтобы могли вполне развиться те новые отношения, которые намечались в колонате. Ибо колонат представлял не что иное, как *переходную форму* от рабовладельческой организации труда к феодальной, которую принесли с собой разрушившие Римскую империю германцы. В развитии колоната выражался своеобразный процесс расплывания и как-бы растворения форм античного мира в охватывавшей его со всех сторон варварской среде.

Это случилось с организацией земледелия, как случилось с армией. Мы уже знаем, что она в IV—V веке стала германской по своему составу; она не могла больше быть опорой для чуждых германцам форм жизни; и совершившийся факт был оформлен низвержением императорской власти. Старый цикл исторического развития кончился, начинался новый.

6. Наследство классического мира.

Жизнь античного мира не прошла бесследно для последующего развития человечества: он оставил по себе огромное культурное наследство. Оно лежало в самых различных областях социально-трудового процесса, и было использовано последующими социальными формациями в самые различные эпохи, облегчая и ускоряя прогресс общества.

Даже непосредственно - материальные остатки античной культуры были очень многочисленны и важны. Грандиозные образцы строительного искусства и инженерного дела — дворцы, храмы, цирки, укрепления, знаменитые военные дороги, водопроводы, каналы и т. п. Если сначала ими только кое-как пользовались, неумело и зачастую хитнически-разрушительно, ближайшие наследники — германские варвары, то позже многому по ним учились арабы, а затем и сами европейцы, особенно в эпоху возрождения.

То же самое можно сказать о памятниках искусства, особенно скульптуры и поэзии. Нам не приходится рассматривать здесь их роль в развитии всемирного искусства нового времени, но известно, насколько она была значительной, во многом — решающей.

Технические и научные знания древнего мира частью незаметно распространились и расплылись в феодальном мире средних веков, повышая собою его культуру; частью же, и притом большей частью, целый ряд столетий они лежали под спудом, хранясь в старых манускриптах, пока не пришли те поколения, которые в силах были понять и принять их. Распространение товарного производства в арабских царствах во времена их расцвета и упадка, а затем и в германских и в романских странах сделало не только доступным сознанию людей, но даже в высшей степени нужною для общества идеологию раньше существовавшей меновой социальной системы, каковою в своих верхах являлся классический мир. Долгого времени и очень большой затраты, сил общества потребовала бы выработка такой идеологии заново; огромное их сбережение получилось от того, что удалось найти и взять ее в почти готовом виде, так что для старых организующих форм жизни и мысли, в ней заключенных, достаточны были небольшие переделки, чтобы они совершенно подошли к новым условиям и потребностям. Именно в этом заключалось отмечаемое историками *революционное* значение античной идеологии в эпоху перехода от средних веков к новому времени, от феодального хозяйства к товарному. Классическая культура как-бы восстала тогда из гроба, чтобы выступить в виде акушерки при трудных родах новой, высшей культуры.

Всего очевиднее обнаруживается такой смысл обращения к древности в распространении тогда по Европе римского права. Его душой, его организующим началом был, как мы знаем, принцип частной собственности, основанной на обмене,

тот самый принцип, который на границе нового времени прокладывал себе дорогу, разрушая старые, натурально-хозяйственные и общинные формы собственности. И принятие римского права послужило тогда могучим орудием выполнения этой жестокой, но исторически-необходимой работы.

Но было еще одно гигантское наследство, которое непосредственно от античного мира принял мир феодальный; то была церковь с ее учением. Мы уже видели, как велико было ее жизненное значение в феодальной системе. Теперь же отметим в общих чертах причины возникновения этой организации с ее экономической и с ее идеологической стороны.

По наиболее обоснованной из современных теорий, христианство было идеологией античного пролетариата (взгляд К. Каутского). Зародилось оно, согласно его собственному преданию, в виде маленькой коммунистической секты среди евреев Палестины. Пролетарских элементов в городах Палестины, крестьянство которой разорялось и благодаря ростовщичеству, и благодаря римскому гнету, имелось достаточно. Склонность к коммунизму всегда свойственна классам пролетарским, т.-е. лишенным собственности. Но у люмпен-пролетариата тех времен, жившего непроизводительной жизнью, типичным являлся именно *коммунизм потребления*, а не коллективизм производства. Это и было основною чертой первых христианских организаций, связь которых воплощалась в общих трапезах, и идеал которых заключался в разделе имущества богатых между бедными для потребления.

Что касается теоретической стороны христианства, то для нее было характерно отрицательное отношение к тогдашней культуре вообще, в том числе к положительным знаниям, философии, искусству. Такая точка зрения была естественна для элементов, лишенных доли в этой культуре.—Далее, характерен был для христианства мессианиззм, т.-е. ожидание избавителя, который должен прийти и спасти человечество от всех бед (учение о втором пришествии). Среди евреев Палестины мессианиззм этот был выражением жажды избавления от эксплуататорского владычества чужеземцев, которое в долгом ряду веков тяготело над еврейским народом, переходившим от одних властителей к другим. Специально же у пролетариев мессианиззм принял более глубокий смысл — жажды избавления от всех бедствий этого мира, т.-е., в сущности, от бедствий социального положения люмпен-пролетариата.—Наконец, нравственное учение христианства о кротости, смирении, любви частью вытекло из того же социального положения пролетариев, подавленного и униженного, частью — из коммунистического характера секты.

Из Палестины новая организация вместе с ее учением распространилась по всей Римской Империи, находя благоприятную почву в пролетариате городов и в прочих угнетенных, экономически и политически, элементах общества, особенно в рабах. Своим мессианизмом и враждою к «миру сему»

христианство привлекало и захватывало также тех представителей высших классов, которые глубоко и болезненно воспринимали процесс общественного разложения, и жили мечтами, в отрицательных чертах отражавшими этот процесс. Для них христианство явилось готовой и целостной систематизацией мечтаний, ставших главным содержанием их паразитически-пустой жизни, уже пресыщенной всеми наслаждениями, какие могло им дать богатство и утонченная, но дряхлая культура. Благодаря таким прозелитам, в кассы христианских общин стекались пожертвования, которые вместе с грошами пролетариев составляли солидную экономическую опору для организации в ее коммунистически-благоговительных задачах: дело общих трапез развивалось и расширялось, а с ним и популярность и влияние церкви.

Накопившееся имущество церкви требовало серьезных забот и умелого употребления; благодаря этому, во главе церкви стали в конце-концов не пропагандисты ее учения (апостолы), а деловые люди, опытные администраторы—епископы. Они сумели ввести в организацию хорошую дисциплину, что чрезвычайно увеличило ее силу, но в то же время сумели вытравить из ее практики и теории те элементы, которые для господствующих классов и для государства должны были представляться революционными. Дух коммунизма сменился духом простой благотворительности, были отброшены всякие крайние требования к имущим классам, особенно требование о передаче всего своего имущества организации; подчеркивалась обязанность повиновения властям, и царство месии мало-по-малу оказалось «не от мира сего». Тогда-то государство прекратило свою, вначале очень энергичную и суровую борьбу против церкви, а решило, напротив, попытаться найти и для себя опору в ее возраставшей силе. В начале IV века церковь была объявлена государственным учреждением, ее учение—господствующей религией.

С тех пор церковь могла развиваться совершенно свободно, а наибольшее влияние в ней окончательно захватили высшие классы, которые и сделали ее орудием своего господства. Тогда-то была выработана в существенных чертах ее систематическая догматика, в которой уже с трудом можно уловить следы ее первоначального происхождения. В таком виде церковь досталась по наследству средневековому феодальному миру, в котором она и выполнила свою организующую роль в грандиозных размерах.

Есть основания думать, что изложенная теория, правильно указывая первые источники христианства, недостаточно полна в анализе его развития. Оно было идеологией всех угнетенных и обездоленных древнего мира, это несомненно; только, быть может, еще в большей мере идеологией рабов, а затем колонов, чем пролетариев. Историки отмечали особенно широкое распространение его между рабами. Его очень существенные черты представляют отпечаток жизненных условий

именно этого класса. Сюда относится, прежде всего, характерная для него крайняя авторитарность, проникающая его учение, а с нею—дух кротости, непротивления, смирения и т. д. Для пролетариев, людей свободных и в большинстве свободного происхождения, в своей бродячей, полной безделья жизни не связанных с конкретными авторитетами, которые систематически руководили бы их трудом и подавляли бы их волю, такая рабская задавленность, такая выступает в представлении христианства о мере с одной стороны, в его нравственном учении—с другой, вряд ли естественна; для рабов же она как нельзя более понятна. Нравы люмпен-пролетариата не были мягки; его склонность к жестоким зрелищам, кровавым развлечениям достаточно известна—черта весьма мало-христианская; для рабов же, которые чаще всего сами бывали жертвами подобных развлечений (гладнаторские игры, травля зверями) христианское отвращение ко всякой жестокости вполне естественно, особенно, если вспомнить обычное обращение с ними их господ. Далее, вне влияния каких-либо производительных элементов общества трудно объяснить связь христианства с производительными ассоциациями—монастырями; тут чувствуются трудовые привычки рабов и колонов. Наконец, всего загадочнее с точки зрения теории Каутского должен представляться факт необыкновенно, по тем временам, быстрого развития самой прочной и удивительно стройной организации на основе наиболее дезорганизованных, наиболее разбросанных и анархичных элементов тогдашнего общества. Основу организации должны были, во всяком случае, составлять элементы иного типа, в достаточной мере организованные самой жизнью. Рабы удовлетворяли этому условию, может быть, в наибольшей степени.

Тем не менее христианство, несомненно, было синтетической идеологией, объединявшей опыт различных угнетенных групп общества. Можно сказать, что христианство было прежде всего идеологией всех *пролетариев* античного мира в широком и общем значении этого слова. Ведь, рабы и являлись *трудовым пролетариатом*, но только—подневольно-трудовым, для которого труд был ненавистным, не положительным, а отрицательным содержанием жизни, тогда как для пролетариев-паразитов он вообще не был содержанием жизни. А за пролетариями, христианство оказалось близко подходящей идеологией для всех угнетенных, и в значительной мере, далее вообще для всех, страдавших от вырождения древнего мира. В этом нет ничего исключительного и странного: только классовая борьба резко отчеканивает различные классовые идеологии; там же, где ее нет,—а напр., между рабами и пролетариями ее, конечно, не было,—там обычным является создание общей идеологии для жизненно соприкасающихся между собою групп.

По той же самой причине христианство, перейдя в средневековый мир и приспособившись к его жизненным отноше-

ниям, могло стать общей феодальной идеологией, общим религиозным мировоззрением сеньеров и крестьян, господствующих и подчиненных. Без этого оно не могло бы выполнить своей колоссальной исторической роли, как в сфере собственно экономической, так и в политической, где Римская церковь выступила как заместительница Римской империи в оболочке, соответствующей потребностям феодального общества.

С. КОЛОНИАЛЬНОЕ РАБСТВО.

С античной системой рабства огромное экономическое сходство представляет рабство колониальное, которое мы и рассмотрим поэтому здесь же, хотя в истории главным его полем являются позднейшие эпохи, и хотя связь происхождения с формами феодальными и феодально-родовыми для него оказывается, большей частью, лишь косвенной. Впрочем, еще в древности имеется достаточно типичный пример системы колониального рабства, именно—Карфаген, финикийская колония на севере Африки. С него мы и начнем.

В эпоху основания Карфагена, т.-е. веке, вероятно, в IX-ом до Р. Х., финикийцы были уже довольно культурной торговой нацией, с общественным строем, основанным на своеобразном, по преимуществу городском феодализме.

Страна, куда прибыли финикийские колонисты на своих кораблях, отличалась большими естественными богатствами: роскошное плодородие почвы в долинах рек, почти тропическая природа, горы с их минералами... Туземцы—ливийские кочевые племена—находились еще на низших ступенях авторитарно-родового быта. Сначала финикийские купцы и колонисты эксплуатировали их посредством меновой торговли, причем пользовались их невежеством совершенно так же, как в позднейшие времена европейские купцы пользовались невежеством американских, африканских, австралийских дикарей, выменивая на красивые безделушки большие количества жизненных средств и даже большие участки земли. Самое основание Карфагена предание связывает с торговым обманом аборигенов. Но в дальнейшем, разумеется, на сцену выступает открытое завоевание, которое сделало финикийян полными хозяевами страны и ее обитателей.

Естественные богатства страны чрезвычайно сильно возбуждали торговую жадность пришельцев, стремление как можно скорее и полнее использовать то, что было под их руками, как это было и впоследствии, при открытии новых стран испанцами, португальцами и другими европейскими колонизаторами. Получалось резкое несоответствие между собственными рабочими силами колонистов и размерами тех выгодных предприятий, возможность которых перед ними открывалась. Тогда хищнические инстинкты с одной стороны, сла-

бость и беспомощность туземцев перед высшей культурой—с другой стороны, должны были подсказать самый легкий выход—обращение туземцев в рабов, даровое использование их рабочей силы. В данном случае это было тем более понятно, что на родине колонистов уже существовали хотя бы еще неразвитые формы рабства. Те европейцы, которые в позднейшие времена первыми стали заводить в новых колониях систему рабовладения—португальцы и испанцы,—также имели у себя на родине весьма близкие к рабству, суровые формы крепостного права.

Таковы были условия, вызвавшие быстрее развитие рабовладельческого строя Карфагенской области, как впоследствии, напр., в американских колониях европейцев. Уже в эпоху войн с греками—V, VI век до Р. X.—у богатых карфагенян на плантациях работало по нескольку сот, иногда по нескольку тысяч рабов, как на крупнейших испанских и французских плантациях Вест-Индии в XVI—XVIII веках, или еще в XIX веке на плантациях Южной Каролины.

По отношению к тем местностям, которые неудобны почему-либо для устройства обширных рабовладельческих плантаций, метод эксплуатации применялся иной. Там туземцев обращали в крепостных и оставляли им землю за повинности,—в Карфагенской области за оброк, чаще всего составлявший четвертую часть всего продукта. Аналогичным образом испанцы и португальцы в своих колониях обращали в крепостное состояние тех туземцев, которых не могли использовать для крупного производства, как рабов, на плантациях или в рудниках.

Когда туземцы по самым своим правам непригодны для обращения в рабство,—каковы были, напр., индейцы Северной Америки, вольные охотники, стоявшие на высших ступенях родового быта,—тогда недостаток, рабов восполнялся посредством их привоза. Так, в Виргинии сначала в качестве рабов применялись шотландские и ирландские военно-пленные, привезенные из Англии; затем, около 1620 года, начали ввозиться негры. В испанских и португальских колониях Америки туземцев еще раньше стали заменять привозными неграми, в виду малой трудоспособности первых и быстрого их вымирания на принудительных работах.

Дело работорговли на почве колониального рабства развивается в крупную специальность. В Карфагене, впрочем, оно специализировалось в меньшей степени, потому что все тогдашние купцы при случае занимались разбоем, захватом туземцев в своих путешествиях и продажей их в рабы. В позднейших колониях европейцев дело обыкновенно организовывалось таким образом, что правительства метрополий отдавали на откуп специальным торговым компаниям исключительное право ввоза рабов в ту или иную колонию, с обязательством доставлять в нее каждый год известное количество негров, как необходимый минимум. Компании же нанимали

на свою службу опытных моряков-авантюристов, большею частью профессиональных пиратов, которые на африканских берегах часть покупали рабов у прибрежных племен, частью захватывали там же туземцев неожиданными нападениями, а иногда совершали охотничьи экспедиции за неграми внутрь страны.

В европейских колониях нового времени и в колониальных государствах рабство держалось до весьма недавнего времени. Его падение было вызвано отнюдь не прогрессом гуманности самим по себе, а развитием высших форм капитала, для которых, в силу разных экономических и политических условий, было невыгодно существование рабского производства. Насколько самый «прогресс гуманности» определяется в своем содержании такими комбинациями, видно из следующего примера: в XVI веке испанские филантропы, и специально знаменитый Лас-Казас, вели энергичнейшую агитацию за *рабство негров*, взамен слишком жестокого по своим результатам рабства индейцев, которые менее, чем негры, «приспособлены самой природою» для принудительных работ; а в XIX веке филантропы всех стран ратовали уже за освобождение негров. Освобождение негров в Соединенных Штатах после кровавой гражданской войны, которое описывается обыкновенно, как подвиг гуманности, в действительности отнюдь не было целью этой войны, а только тактическим приемом в борьбе капиталистического, промышленного и протекционистского Севера против Юга, рабовладельческого и фритредерского. Северянам нужны были высокие пошлины на продукты их фабрик, чтобы продавать их по дорогой цене; южанам — отсутствие таких пошлин, чтобы покупать те же продукты по дешевой цене. Неграми северяне воспользовались в этой борьбе, как полезною опорой во вражеской стране, а потом наделили их гражданскими правами, чтобы удерживать политический перевес в Союзе штатов.

Всего позже было уничтожено рабство негров в Бразилии (в 1888 году). Во всех странах его идеологические пережитки поддерживаются до сих пор авторитарными функциями буржуазного государства, именно, в системе уголовного права: преступников и теперь еще во многих случаях обращают в государственных рабов, на известный срок или на всю жизнь (так называемая «каторга»).

Политический строй при колониальном рабстве складывается неодинаково, в зависимости от отношений с метрополией, но в общем тяготеет к форме аристократической или плутократической республики. Экономическое неравенство обыкновенно приносится еще из метрополии, а в самой колонии развивается, при значительной роли торговли в ее жизни, еще далее; тех же условий, которые в Греции и Риме создавали демократию, здесь нет: нет многочисленного класса самостоятельных мелких производителей, способного противопоставить свою силу силе магнатов капитала и рабовладель-

ния. Эти магнаты, сплотившись, либо образуют формальную олигархию, как было в Карфагене, либо на деле осуществляют ее даже при довольно демократичных внешних формах, как это было раньше в Южных штатах Сев. Америки и в некоторых отделившихся испанских колониях.

Как и всякая иная рабовладельческая система, колониальная носит в себе условия своего вырождения, по обычной схеме: паразитизм одних, чрезмерное истощение сил у других. В Карфагене картина разложения и упадка не успела развернуться широко и полно, потому что он раньше погиб в борьбе с демократическим тогда и еще поднимавшимся вверх Римом. Но самая эта гибель была результатом коренной слабости: Карфаген не мог почти иметь других войск, кроме наемных.—В европейских рабовладельческих колониях процессы упадка маскировались часто дальнейшей колонизацией, завоеванием тех же колоний капиталистически-передовыми нациями, которые их реформировали, и т. под. Но на судьбе большей части испанских отложившихся колоний в Америке, на их долгой экономической отсталости и неспособности даже выработать прочное государственное устройство, легко видеть, как глубоко подрывалась экономическая жизнеспособность колоний продолжительным гонимством системы рабства.
